

Амаяк
ТЕР-АБРАМЯНЦ

г. Москва

Берега моей матери

рассказы



Чужой

Собрал чемоданчик, я оглядел бабушкину комнату, где с тяжёлой простудой бездарно провалялся шесть дней — лучшую часть моих зимних каникул. Я тут всё успел изучить до деталей: и белую русскую печь, отгораживающую вход от комнаты, нехитрую мебель, немудрёный рисунок обоев: волнистые коричневые короткие линии-червячки на жёлтом фоне. В который раз взгляд мой задержался на картинке, искусно выполненной из ракушек разного размера, — Кёльнский собор, подарок сына Полины Ивановны — морского офицера Володи.

Знаком я с ним не был, видел только на фотографии с женой эстонкой, как ни странно, брюнеткой — красавицей, учительницей эстонского языка. У них два сына: старший — Александр, полуслепой, младший — Артур. Их я тоже знал только со слов ба¹. В семье той она чувствовала себя неуютно: все, кроме Володи, говорили на эстонском. Сын понимал эстонский, но говорил по-русски. Старший, Саша, несмотря на свою слепоту, окончил Тартуский университет. Все были настроены антирусски, кроме Володи, который на эту тему отмалчивался. Ба была типичная псковитянка — сухонькая, выносливая, аккуратная: лицо кругленькое, нос картофелинкой, полуседые волосы зачёсаны назад в пучок, сеточка морщинок... Мне казалось, что с годами и десятилетиями её внешность совершенно не менялась. Муж её, моряк, в войну в море погиб. Получается, дети её старше меня были. О них рассказывала мало. Лишь однажды поведала мне с обидой на младшего внука: «А Артур нынче говорит: и зачем такой большой России такая маленькая Эстония нужна?» Я промолчал, для меня этот вопрос не казался однозначным.

Да, не повезло мне на этих первых студенческих зимних каникулах — по собственной дурости не повезло. В первый день приезда — только добрался до Пирита, где жила ба, — отправился гулять по окрестностям, к морю.

¹ Ба — бабушка; фактически Полина Ивановна в детские годы была герою няней.

В ту зиму весь Таллинский залив был покрыт серым и гладким, как на катке, льдом. Захотелось мне по этому льду прогуляться, и пошёл я вперёд: думал, может, воду, свободную ото льда, увижу — и назад. Ветер дул ледяной с моря, а мне было весело! Смотрю: довольно далеко от берега ёлочка изо льда торчит, справа метрах в ста ещё одна и слева тоже. И кто же их сюда поставил и зачем? Удивился: «К Новому году, что ли?» А спросить не у кого. Зашагал дальше — ещё метров сто прошёл, но тут уж окончательно промёрз и назад повернул. Мне, дураку, и в голову не пришло, что эти ёлочки отмечали зону, за которую дальше идти опасно — лёд может проломиться.

Посмотрел я на пришвартованное к молу старинное трёхмачтовое судно — «Король Юхан», как мне перевели буквы. Оно было переделано под ресторан для финнов и прочих иностранцев, куда советскому гражданину ход был заказан.

Вернулся я домой к ба, а к вечеру меня свалила лихорадка, температура была под сорок и кашель, вся комната перед глазами поплыла, даже голову с подушки не мог поднять.

А ведь как хорошо всё начиналось! Первые студенческие каникулы, первое самостоятельное путешествие в любимый Таллин! Романтика началась с платформы вокзала, где я услышал давно забытый, но с раннего детства такой знакомый плавный эстонский язык. А потом я стоял в коридоре купейного вагона и любовался зимним солнечным деньком, предвкушая новые впечатления, встречи, наслаждаясь дорогой, свободой. Снег ярко сверкал, свежели зеленью башни елей, а в голубом небе блеснул алюминием кажущийся отсюда игрушечным самолёт.

Соседями по купе оказалась миловидная пухленькая блондинка (эстонка?), серьёзный мужчина средних лет в свитере, который сразу достал газету с готическим шрифтом (немец? даже удлинённое спокойное лицо у него готическое!), и молодой симпатичный лейтенант с перекрещенными пушками на воротнике (ракетные войска!).

Общительный лейтенант — звали его Валентин, ехал в Таллин аж из казахского Актюбинска — быстро всех перезнакомил. Затем вышел из купе, а через полчаса появился в дверях с бутылкой шампанского и блюдом с фруктами — апельсинами, яблоками. Предложил всем попутчикам

устроить небольшой пир. Он мне сразу понравился, я почти что в него влюбился — маленькая изящная голова, красноватое лицо, в котором гармонично сочетались интеллигентность и мужество. С юмором он рассказывал, как впервые попал по месту назначения в часть, пошёл на танцы и был бит местными офицерами. Неудивительно — все девицы и жёны кинулись на новенького красавчика. По пути в Таллин лейтенант должен был сойти во Пскове и задержаться дня на два, чтобы попасть на свадьбу каких-то родственников. Почувствовав, видимо, и ко мне симпатию, он стал приглашать махнуть с ним под Псков, прокомпостировал билеты, а потом вместе добраться до Таллина.

Но в Таллине меня ждала ба, и, если бы я задержался, это вызвало бы у неё тревогу. Я вынужден был отказаться от заманчивого предложения. Дал ему адрес ба, чтобы он отправил телеграмму, когда и во сколько прибудет его поезд в Таллин. Ах, как мы погуляли бы по Таллину! Какие неожиданные встречи и повороты мне мнились! Дух захватывало от восторга!

И вот на следующий день моего лежания на кровати ба принесит голубенькую телеграмму: «Встречай сегодня во столько-то часов, поезд номер такой-то, Валентин...» А я с кровати подняться не могу, температура под сорок! Хоть плачь! И ещё хуже становилось при мысли, что, не встретив меня, он подумает обо мне как о каком-то раздолбае, который слова не держит!

Странно, но ни у ба, ни у меня не возникло тогда мысли врача вызвать: казалось поначалу, отлежусь день-два — и отпустит. Но когда градусник и на третий день показывал тридцать восемь, ба решила меня лечить по-своему: принесла четвертинку водки, на ромашке настоящую. И себе ба принесла...

— Только матери не рассказывай, — упредила, откупоривая.

Я, конечно, не всё залпом выпил.

На тот момент я и шампанское пил всего два раза в жизни: первый — полстакана с нашим десятым «В» на выпускном вечере, который отмечали на теплоходике, идущем по Москве-реке. У меня до того времени зарок был: не пить. Да я и сам веселиться мог — без вина. Другие полстакана — в поезде с Валентином, они вообще не подействовали.

А тут у ба — водка! Но лекарство ведь! Налила мне ба граммов сто. Выпил без удовольствия, ведь лекарство — надо терпеть. Улёгся, стал глядеть на жёлтые обои с коричневыми червячками, и вдруг эти червячки как бы задвигались, зашевелились, в воздухе какая-то золотистость появилась, в голове — лёгкий туман, что мне не очень понравилось: я дорожил ощущением ясности сознания. А тут мысли стали терять свою последовательность, но зато вспыхивали порой неожиданные, и наблюдать за этим стало интересно, отчего и время будто быстрее помчалось...

Ба выпила свою дозу, и слёзы появились у неё на глазах:

— Ах, как я тебя любила, когда ты маленький был! — плакала и улыбалась.

На следующий день, когда ба ушла на работу, я опять выпил «лекарство», и снова червячки на жёлтых обоях зашевелились, золотистый туман в голове появился, из которого выплывало то одно, то другое неожиданное впечатление, и это было забавно и нескучно. Например, предвкушение посещения Вышгородского замка можно было с одинаковой свежестью переживать много раз, повторяя названия его башен: Длинный Герман, Корона земли, Точильщик стрел...

На третий день я уже смог вставать и немного ходить. А к вечеру к ба пришли её друзья: краснорожая плотная почтальонша и муж её — тихий сухой и маленький старичок. Они поллитру принесли. Сидели выпивали: я — свою настойку, они — поллитру.

Вот тут и выяснилось, что старичок этот — капитан дальнего плавания на пенсии. Рассказал, как попал однажды в Баренцевом море в особенно сильный шторм. А везли они с Новой Земли учёных физиков, которые обследовали тот остров после первого испытания на нём водородной бомбы. (Это после неё Хрущёв в ООН грозно стучал ботинком по трибуне!) А когда вернулись в порт, натерпевшиеся от шторма физики нежно благодарно гладили сталь обшивки корабля: «Спасибо тебе, выдержал!»

Прошло шесть дней, пока я не почувствовал себя совершенно здоровым. На Таллин оставался всего один — седьмой день, а на восьмой у меня уже был обратный билет в Москву. За время болезни я вдоль и поперёк изучил путеводитель по Старому Таллину: замок Тоомпеа,

Старый город, дом Черноголовых, Сад датского короля... Вся эта романтика всего в получасе езды отсюда! Я перечитал около десятка книжек: ба принесла от соседей. От таких книг ничего в душе не остаётся. Составил план моей однодневной экскурсии так, чтобы за день посетить наиболее интересные места Таллина.

Когда я, положив под подстилку ключик, вышел из дома, сыпал влажный снег. Через полчаса, а то и меньше автобус довёз меня до города. Сыпал снег, превращаясь под ногами пешеходов в сероватую кашу. Я оставил чемоданчик в камере хранения и пустился бродить по городу в оставшиеся четыре часа до отхода поезда. Старый город с его улочками и башнями невелик, и его можно обойти без всякого транспорта. Зима и снег придали ему ещё больше живописности и сказочности.

Я втайне надеялся, что вдруг встречу Валентина, всматривался в прохожих, но напрасно. Обошёл музеи, и самое большое впечатление на меня произвели рыцарские латы и меч палача — длиннющий и двуручный с готическими буквами на лезвии, ниже которого была табличка с переводом: «Каждое утро, поднимая этот меч, я дарую грешнику вечную жизнь». Потом не без труда я отыскал дом, в котором провёл раннее детство, — двухэтажный финский домик напротив больницы (мы обитали на втором этаже), обошёл его, и мне никто не встретился.

Я вернулся в Старый город. Когда шёл под аркадой Ратуши, сверху из раскрытого окна освежающим душем хлынули на меня звуки рояля. Я шёл и чувствовал себя почти счастливым. Но вслед за тем и несчастным: я чувствовал, как истекают последние минуты моего присутствия здесь. По мере того как приближалось время отхода поезда, я всё быстрее и быстрее шагал, почти бежал по Старому городу, проходя порой одни и те же улицы и закоулки, будто пытаясь как можно глубже впитать в себя этот город.

Руки замёрзли, и, почуяв запах кофе, я зашёл в кафе. Выпил кофе с коньяком, и мне стало теплее. Немного отогревшись, я снова начал бродить, шагать — так вышел на улицу Лай с суровыми стенами Олевисте и шпилем, одним из самых длинных в Европе, как я помнил из путеводите-

Берег

ля. Задрал голову, чтобы разглядеть шпиль, — меня пошатнуло: суровая серая стена с готическими окнами валилась прямо на меня. Я опустил голову и удержался на ногах.

Зашёл в ворота церкви. Шла служба: на балкончике одной из колонн лысоватый пожилой пастор в синем костюме советского служащего читал Библию на эстонском. Здесь всё было по-пуритански сурово: голые стены, колонны и лишь у распятого Христа стоял пышный букет замечательных свежих роз. В этом городе умели каждой детали придать смысл. Сиденья для прихожан напоминали школьные парты, только «столики» были узкими и холодными, чтобы можно было поместить молитвенник или прижаться лбом к холодному жёлтому дереву.

Прихожан было немного. Тихо и полновечно, будто что-то предвещающая, гудели трубы органа. А мне не хотелось возвращаться завтра туда, где трубы извергают не торжественные, полные тайного смысла звуки, а заводской отравляющий дым. Я присел на заднем ряду, где лежали наушники, надел их. Молодой голос переводил слова пастора, и слышалось шуршание перелистываемых страниц: «...Мы встречаем образ креста в жизни на каждом шагу, крест — это символ события, его зарождение, начало — пересечение линий, пересечение дорог и судеб людей. Крест — это принятие решения, наш выбор... У каждого свой крест, каждый несёт свой крест, крест выбора, судьбы...»

Чудилось, огромная синяя волна прибоя надвигается на меня, но я не отступаю — с восторженным замиранием жду: достанет, зальёт или не достанет? Вот ещё миг — и всё решится!.. И тут кто-то тронул меня за рукав; очнувшись, увидел маленькую пожилую эстонку в коричневом берете:

— Молодой человек-к! Молодой человек-к, — повторяла она, — служба закончена, все ушли.

Я встал и направился к выходу меж опустевших сидений. «И почему сны так часто заканчиваются, когда вот-вот наступает момент разгадки?» — недоумевал я. Не могла же знать эта служительница сюжет моего сна! В этом чудилась мне какая-то связь действительности и потустороннего.

Злой он был, тот морячок Володя! И зачем меня моя ба Полина Ивановна с собой взяла? Наверное, думала, что при мне жену бить постесняется.

А он — только вчера с рейса, первый раз за три месяца на землю ступил и — сразу в кабак, конечно. Вот и сидит теперь у стола боком — пьяный, злой, и серый пёс, судовой товарищ, у его ног крутится.

А он, Володя этот, конечно, красив: морда львиная, грива волнистая — жёлтая с рыжиной. Глаза синющие ни на нас с нянюшкой, ни на жену с трёхлетним сыном не глядят, а смотрят в стену напротив, будто фильм на ней какой-то показывают. И не нравится ему этот фильм очень: хмурится, кривится зло Володино лицо, а оторваться он не может... Одна лапа его лежит на столе — сбитая, грубая, как клешня. А вот грудь у него узковата, хотя и столько морским воздухом пользовался, — совсем как у меня в ту пору шестнадцатилетнего.

Вообще-то, он моторист, и на палубе ему сильно убиваться с тралом не положено. А рубашка на нём синяя, новенькая, в обтяжку, с кармашками — видно, жена постаралась, маленькая блондиночка.

У той беседа как бы посторонняя с моей ба. А пацанёнок такой симпатичный, ангелоподобный, с игрушками на полу возится.

«Знаешь, — признавалась мне ба, — я его так полюбила — почти как тебя маленького!»

Да, мальчонка симпатичный, только вот два верхних передних зуба срослись в один — видно, что-то врождённое, стигма какая-то — всё впечатление портит.

А Володя всё смотрит свой фильм и кривится:

— Мать твою так! Ах, мать твою! — Клешня его, задевая рассыпанные цветные карандаши сына, сжимается в кулачище.

А жена его и ба моя беседуют, будто не слышат.

— И куда плавали? — пытаюсь первым завести разговор.

— Говно плавает, моряки — ходят, — цыкнул Володя, не взглянув на меня.

— Далеко?

— На Ньюфаундлендскую банку, — нехотя отвечает и снова свой фильм смотрит.

А мне как-то и расспрашивать его расхотелось.

Пёс в ногах у Володи крутится. Он наклоняется, гладит его, за ухом трёт, возглашая:

— Вот кто мне никогда не изменит!

— Вова, успокойся! — Это, значит, моя ба.

— А ты пошла туда-то, старая!..

Тут кровь ударяет мне в лицо: это ведь он — моей ба, которая меня на руках носила, соску с манной кашей давала! Я его мигом возненавидел. Дратся?! Но я ни разу человека в лицо не бил. Руки мои онемели, и я уже знал: своей клешней он достанет, — значит, и мне придётся. От этого пустота внутри настала такая, что жить не захотелось. Я медленно стал подниматься с горящим лицом.

Однако ба заметила моё состояние и потащила меня вон.

— До завтра, — сказала вслед Володина жена, будто ничего не случилось.

— Вот как из плавания придёт — так, значит, начинает... — говорила мне ба, пока мы шли к её комнате по коридору, воняющему кислыми старыми досками и мышами. — И ещё начинает свой кинжал искать: «Где мой кинжал!» А я его у себя спрятала.

В своей комнате ба показала мне нож. На кинжал он, конечно, не тянул: лезвие коротковато. Но хороший нож был, самодельный. Видно, что со знанием дела и с удовольствием вытачивал его Володя за долгое плавание: лезвие мёртво сидит на рукоятке, рукоятка гладкая, обмотанная пластмассовыми кольцами — сама в ладонь просится.

— А ты возьми его себе от греха подальше! — просит ба.

— Ладно, — сказал я и в чемоданчик свой спрятал: будет память о Ньюфаундлендской банке.

Вольный поиск

— ...Михалыч, а правду говорили, в Хибинах тебя снегом на шестнадцать метров завалило?..

Поход закончился, и небольшая мужская компания засиделась до утра: лёгкие сумерки белой ночи за окном обманывали: всё казалось, рано ещё идти на боковую, только веки слегка тяжелели, а вот уж светлеть начинает... На столе — пустые бутылки, дым — до потолка, высокая банка из-под тушёнки засыпана окурками доверху.

— Правда, — усмехается наш инструктор, достаёт предпоследнюю папиросу «Беломора» из пачки. Михалыч — невысокий, смуглый, весь как будто из жил состоящий человек, — быстрый, взрывной и неутомимый, как мотор. — Лыжи нас спасли... Прочные лыжи, минские... Мы их на две скалы положили, между которыми на ночёвку встали, — вроде крыши получилось. Вот они и сдержали всю тяжесть. Сплю я в походе зимой всегда сидя, голову на грудь опустив, вдруг чувствую во сне: будто что-то давит сверху, голова ещё больше к груди пригибается и дышать трудно становится. Я инстинктивно голову вправо отвожу — дышать не легче, влево — опять не помогает. Открыл глаза: крыша палатки провисла, только свечка горит и все спят: супруга моя будущая дежурила и заснула, а сколько времени прошло — кто его знает. Ну и завалило... Сообранил, в чём дело, тихо бужу народ. Говорю, гасите свечку. Тут один приятель — в крик: «Всё, пропадём!» «А ну замолчи», — говорю. Загасили свечу. Начали копать вверх котелками — и тут проблема: куда снег девать? Ну, как-то распределяем, складываем его под себя. Копаем, копаем и вдруг видим — вверху маленькая дырка показалась, а в ней — звёзды. Дышать сразу легче стало. Ну, мы — наверх мою будущую супругу. Я и Володька, мой приятель, здоровый, метра два малый, пятками уперлись, разом распрямили ноги и вытолкнули её, как пробку из-под шампанского. Так и выбрались. Только с тех пор моя супруга в походы больше не ходит.

— Совсем?

— Совсем. Вот уж тринадцать лет.

Я смотрю и думаю: всё-таки интересный человек Михалыч. Другие за всю жизнь ничего, кроме дороги из дома на службу, не видели и не ту-жат, путешествуют не иначе как по магазинам да раз в году, быть может, на южный берег Крыма на солнышке пожариться или в деревню огород покопать — опять же время с пользой провести. А у Михалыча чего только в жизни не бывало!

Рос он обычным деревенским пареньком где-то на Ветлуге, тайком от родителей вместо школы ходил в топографическое училище, потом странствовал с геологами, зимовал на Земле Франца-Иосифа, работал шофёром-дальнобойщиком, путешествовал по Камчатке, первым спускался сквозь непроходимые пороги на Вороньей реке, сопровождал арктический круиз.

Насмешливые, чуть выпуклые карие глаза с желтоватыми белками, острые нос и скулы, всё лицо, сплошь расчерченное в сорок лет жёсткими мужскими морщинами. Строптив, что и говорить!

Как-то на турбазу чуть было не зачастил генерал — начальник округа войск. Директор турбазы, холёный великан-бородач, встретил первый раз генерала и его приятелей финской банькой и рыбалкой. Понравилось, видно, генералу, приехал опять. Закрутился, завился было снова директор вокруг высоких гостей, да тут осечка вышла: зам его, Михалыч, канистру бензина для моторки выдать наотрез отказался. «Ты меня до инфаркта доведёшь!» — кричал директор, но Михалыч был непреклонен. Недовольный уехал генерал и больше в этих краях не показывался.

С начальством у Михалыча всегда отношения сложные бывали. Сам в начальниках подолгу не задерживался, а всё больше в замах ходил, как и здесь, на турбазе. В замах держать его было выгодно, потому как и опытом обладал, и умел много. Не умел только угождать — вот и приходилось терпеть его всякому руководству.

За поход мы убедились, что людей Михалыч вычислял отлично — так же, как и ориентировался среди островов и протоков, всегда выводя нас в назначенное место. Был он требователен, и не всем эта требовательность нравилась — особенно бездельникам не нравилась. Порой бывал даже излишне груб, но никогда — без повода. Слыша-

ли, как он распекал чудовищными матюгами инструкторшу, добрую и приятную женщину, жену своего друга, за то, что она потеряла одну из двух шлюпок с туристами. Две губы перепутала — губой здесь залив называют. Дело своё инструкторское Михалыч знал туго, и, я думаю, был бы на его месте кто другой, возможно, тогда и деньги, проведённые в Заполярье, вспоминались мне не с таким удовольствием.

Помню, как шли мы через шестикилометровый плес в слиянии двух рек, берущих начало в Финляндии, к островку, где находилась база рыбаков. Светило солнце. Справа по борту открывалась вереница то слегка заострённых, то полыхих, как верблюжьих горбы, воздушно-голубых сопок. Широкая полоса воды под ними полыхала блистающим белым поясом, на который невозможно смотреть, не сощурившись, и сыпались из пояса непрерывно и щедро на холодные грани волн яркие ослепительные вспышки.

«Вот это место малыши Курилами у нас называют, на Курилы очень похоже...» — комментировал инструктор наши невольные возгласы восхищения. Равномерно поскрипывали вёсла, то появляясь из ледяной воды, то вновь вонзаясь в неё, в такт чётким и звучным командам Михалыча: «И р-раз!.. И р-раз!.. И р-раз!..»

Однако едва доплыли мы до середины плеса, как обнаружили, что вода начинает заливать днище: бесспорный признак того, что в шлюпке открылась течь. Вода прибывала равномерно и не очень быстро, и всё же пришлось освободить гребца для её вычерпывания, и скорость наша снизилась. А тут ещё слева показалась тёмная туча в виде подковы с рогами, обращёнными к нам, и ветер быстро гнал её в нашу сторону, а ещё волны расшались, опять же снизив ход, и два-три гребешка залетели в шлюпку.

— Ну-ну! — зычно подбадривал Михалыч. — На Севере должно немножко и покачать, а то и так всё при хорошей погоде шли!

Тут одна дама — в крик:

— Да чтобы я ещё раз на этот чёртов Север!..

В ответ незамедлительно из пушечной глотки Михалыча раздался рёв, в котором чётко можно было разобрать недвусмысленное обещание выкинуть её за борт, если она немедленно не замолчит.

Вода стала прибывать быстрее, и пришлось ос-

вободить второго гребца для вычерпывания. Теперь мы шли только на четырёх вёслах из шести, а туча летела на нас, всё шире распахивая небу свои пасмурные объятия. Ящик с вымокшим хлебом и крупы пришлось передать во вторую шлюпку, и она, перегруженная, шла тоже нелегко. Берег приближался, но как бы нехотя, — загорбные во всю силу налегали на вёсла, лица их стали вытянутыми и серьёзно-отрешёнными; вычерпываемая вода из лотка и котелков непрерывно лилась за борт.

Туча всё же настигла нас метрах в ста от берега, дохнул холодный ветер, хлестнул дождь по лицу и рукам, забарабанил по клеёнке, покрывающей рюкзаки. Поверхность волн и воды в лодке, образовавшей небольшое озеро, сплошь ощерилась серыми оспинами... Всё стало в один миг каким-то серым, скучным, однообразным — равномерные рывки вёсел, вода, прибывающая сверху и снизу, сизифовы потуги вычерпывающих, лица гребцов с поджатыми губами...

Мы пристали точно напротив сарая, в котором рыбаки хранили сети. Подтянув на берег шлюпки, пошвыряли рюкзаки на берег в кучу, накрыли их брезентом, а сами, уже изрядно вымокнув и промёрзнув, кинулись в сарай, где среди сетей и красных шаров кухтылей сразу показалось тепло и уютно.

Однако долго нам обретаться в тёплом сарае не пришлось: минут через десять-пятнадцать туча прошла, дождь прекратился и засияло солнце. Да какое!.. Окрестности дымились белым туманом и просохли в считанные минуты. Галечный берег, к которому мы пристали, был покрыт рогатыми стволами плавника, такими светлыми и отточенными, что казался усыпанным костями древних гигантов; за ним начинался прозрачный невысокий северный лес, в котором находилась изба рыбаков. Рыбаков на месте не оказалось, на дверях висел замок, в окно виднелись лавки, стол, чайники, котелки, большая белая печь, керосиновые лампы на ней. Позади избы мы обнаружили стоймя прислонённые к стене старые, с заржавленными полозьями нарты. Из живых обитателей острова нам встретился только кот. Завидев людей, он, тихо мурлыкая, сразу полез ласкаться. Судя по состоянию кота, люди давно не навещали остров: после его ласк на одежде оставались клочки шерсти, а при поглаживании

можно было сосчитать все его крошечные косточки. Так что наш грядущий ужин был ему как нельзя кстати.

Народ расстелил вещи для просушки и отправился играть в волейбол, а Михалыч — ремонтировать шлюпку. Мне стало любопытно, как он решит эту проблему, и я увязался за ним.

Тем и хорош летом Север, что веселит дух частыми переменами: ничто уже не напоминало о непогоде. Ветер почти стих. В ясном воздухе ярусам клубились верблюжьих горбы фиолетовых сопков, над гладкими, как оконное стекло, пышущими млечно-голубым сиянием водами кружились чайки, время от времени скрипуче переключаясь. Михалыч трудился, сидя на корточках и согнувшись, у носовой части шлюпки, клетчатая рубашка туго обтягивала мускулистую спину. Здесь, в борту, почти у днища, он обнаружил дырку, в которую проходил мизинец: последней ночью на старой стоянке волны и ветер помотали шлюпку и, очевидно, борт пробил ветка плавника, мертвые стволы которого в изобилии покрывают здешние берега и дно.

«Эх, гудрончику нет!» — сетовал инструктор. Выточив небольшой колышек, он обернул его куском брезента и заколотил в дырку; достав небольшую пилу, спилил с двух сторон колышек под уровень досок борта, покрасил место повреждения битумом. Потом встал и направился к костру (там уже открывали консервы) и, взяв аккуратно вырезанную крышку консервной банки, гвоздем пробил в ней равномерно по всей окружности ряд дырок. Вернувшись в лодку, приложил крышку к месту повреждения и намертво приколотил её сквозь дырки гвоздями. Чистой получилась работа — на первый взгляд, от фабричной не отличишь. «Ну вот, теперь ещё кляп разбухнет от воды — только крепче станет!» — удовлетворённо сказал инструктор, поднимаясь.

Чтобы прижиться на Севере, многое должен человек уметь делать руками. Не меньше дюжины профессий у Михалыча, но главное призвание, от которого всё остальное, — дорога.

— С женой моей мы из тринадцати лет дай бог три года вместе провели, — смеётся он.

— Это она на причале была? — спрашиваю.

— Она...

Я вспоминаю стоявшую на причале женщи-

ну в штормовке. К ней подошёл наш инструктор, как только шлюпки пристали и мы начали выгружаться. Есть люди привлекательные не столько внешне, сколько каким-то внутренним благостно-спокойным светом, будто отмеченные чем-то высшим. Пару раз встретил в жизни такие лица — считай, повезло. Такие лица у людей много думавших, много претерпевших и несломленных. И все мы, мужчины и женщины, не сговариваясь, невольно почувствовали, отметили, не услышав от этой женщины ни слова, её человеческую особенность, её человеческую красоту. Ну а инструктор был хоть куда — в ковбойке и штанах, усеянных на ягодицах дырками, с лихо зачесанной назад волной уже редееющих каштановых волос, остроносенький — эдакий петух-задира.

— А на этот раз я перед самым приходом на Вертишваре штаны порвал, когда, помните, ту здоровую корягу для костра мы с Валерой тащили, — рассказывает Михалыч. — Встречает она меня на причале, заметила штаны рваные и тихо говорит: «Ну как, вернулся?» — «Вернулся, — говорю, — вот только штаны порвал...» — «Ну, а задница хоть цела?» — жена спрашивает. — Михалыч рассмеялся. — «Ничего, — продолжает, — вот дочка выйдет замуж — отдадим молодым квартиру в Мурманске, сами здесь осядем... Вот тогда и проживём вместе, тихо. Внуков буду нянчить».

Я попытался представить себе Михалыча тихим дедом, да ничего у меня из этого не вышло; вот он вздохнул смиренно, а в глазах озорство прыгает.

— Чёрта с два! Чёрта с два, Михалыч! Не сможешь ты спокойно сидеть! — не выдержал я.

Он рассмеялся:

— И вправду... Вот и она так говорит...

На следующий день после нашего прощального ужина мы уезжали. Всей группой сфотографировались на память вместе с Михалычем, сидящим, как и положено, в центре. Стали раскладывать вещи и рассаживаться в автобусе. День был какой-то серенький, пасмурный, с низким небом, и думалось грустно: «Вот и прошёл праздник».

Все возвращались к своим будням. Возвращался к своим будням и Михалыч — к турбазе надо было проложить какую-то траншею.

Когда мы выехали из ворот, он уже стоял над траншеей, у шоссе, среди группы рабочих, в многокарманной спецовке и кепке, с отбойным молотком в руках: грунт здесь — сплошные скалы. А рядом тянулись к тяжелому небу две хилые заполярные сосенки с перекрученными от постоянно дующих с Севера ветров ветвями, и я подумал о наступающей зиме, что вот мы взяли все самое лучшее, что может дать Север кратким летом, и уезжаем; а здесь уже начинается осень, листва желтеет, и эти люди остаются на долгую зиму, на долгую полярную ночь, и скоро задуют здесь неведомые нам ненормальные и тугие ледовитые ветра...

В том году я послал из Москвы Михалычу новогоднее поздравление. Через некоторое время из области полярной ночи пришла весточка. Почерк мелкий и твёрдый, такой чёткий, будто писал не рабочий человек, а служащий бухгалтерии или паспортного стола. Михалыч сдержанно благодарил за поздравление. В скупых строчках сообщал, что жена у него умерла и теперь, чтобы не оставлять дочь одну, он, бросив прежнюю работу, переехал в Мурманск, где устроился водителем автобуса.

Я сразу вспомнил женщину в штормовке на причале. Конечно, я уже не мог вспомнить черт или хоть примет её лица, разве только то, что была в нём несколько излишняя бледность. Но я сразу припомнил то ощущение света и чистоты, которое мы все испытали, раз взглянув в её лицо, и преждевременная смерть этого человека резанула какой-то особенной своей несправедливостью, не оставляя места досужему вопросу о причине.

Теперь можно поумничать: сказать, а возможно, мы в ней и почувствовали Знак? Пустое!.. То, что мы в ней почувствовали, не было Смертью, то была Жизнь в высшем смысле.

Ну, а как же Михалыч? Его дорога теперь от остановки к остановке, от перекрестка к перекрестку, день за днем, в темноте, в любую погоду, по одному и тому же маршруту в городе, где даже дома выстраиваются по кругу, как крепости, чтобы оборониться от лобовых ударов ледовитого ветра.

Помню, как Михалыч рассказывал: «А в отпуск беру моторку, удочку, ружьишко и ухожу один в такие места, что только я и знаю, неде-

ли на две. Вольным поиском у меня это мероприятие называется!»

Вольный поиск! Где вода настолько чиста, что её можно пить, зачерпнув за бортом лодки, где бессонное солнце ходит по кругу, отменив все привычные ориентиры во времени и пространстве. Вольный поиск! Что может быть в жизни правдивее? И о чём Михалыч думает, когда печёт над костром нанизанный на ветку кусок пойманной и распотрошенной щуки или, закурив сигарету, смотрит на ближайшую покрытую щетиныстым северным лесом черную сопку над серебристо-стальной гладью губы? О том, что самое лучшее должно обязательно повториться? А возможно, он ничего и не думает, бывает и так, что Север страшно и сладко растворяет человека в себе без остатка. Ну а если и вспомнит то, что иной назвал бы «упущенными возможностями», так не без некоторого удовольствия, ведь главное — жить не для того, чтобы когда-нибудь кем-то стать, подняться по лесенке тщеславия, а быть в ладу с собой всегда уже в настоящем, каждый день, каждую минуту...

Поезд «Таллин(н) – Москва»

Декабрь, 1991.

Поезд «Таллин(н) – Москва» набирает скорость. В суе и толкотне посадки я пропустил священный момент трогания. Переполненный общий вагон, последний в составе, трясёт и раскачивает, как во время бури. Вагон — обычная грязная плацкарта, заполненная сидящими на нижних полках. Пассажиры утрамбованы бок в бок, по ногам из раскрытой двери несёт ледяным холодом, а попытка её прикрыть вызывает гнев проводницы эстонки — пучеглазой и решительной дамы лет пятидесяти. По какой-то загадочной причине ей удобно держать дверь в вагон открытой:

— Ничего с вами не сделается! В моём купе не теплее. Кто хочет — пусть зайдет...

Желающих воспользоваться приглашением не находится.

Полумрак. От перспективы провести всю ночь в таком состоянии становится жутковато: тут или околеешь, или вывернутся все внутренности. Впрочем, до Пскова многие должны выйти, а там, говорят, начальник поезда за дополнительную плату обычно помогает с ночлегом в других вагонах... А пока терпи.

Я — на боковушке.

Рядом клюёт носом во вздыбившийся красный шерстяной шарф пьяненький мужичок. Изредка он вскидывает голову, смотрит мутными глазами в вагонный полумрак, роняет одну-две несвязные фразы и, ухмыльнувшись, снова засыпает. Ему уже хорошо. Напротив мирно и негромко о чём-то беседуют сидящие рядком три интеллигентные дамы — две эстонки и русская, всем под пятьдесят. Роскошные шубы эстонки, песцовый воротник русской выглядят диковато в скотской тесноте плацкарты. Эстонки пьяного как бы не замечают, умело подавляя раздражение. Им это надоело. Русская время от времени одаривает мужичка грустной улыбкой.

В грязном оконном стекле кивают наши смутные отраженья, а из черноты зазеркалья — ни огня, ни звука, и лишь душа знает, что с каждой минутой мы всё дальше от моря. Будет лето, и на светло-голубом просторе выстроятся косые паруса яхт: белые, голубые, жёлтые, розовые... И на борту одной из них мне мнится человек, лицом похожий на меня, в фуражке с якорьком и зелёным отсветом кометы в глазах, — эстет, с презрительным снисхождением поглядывающий на берег...

Тридцать три года назад по этому пути меня, ещё ребенка, поезд уносил на восток. Резко изменилась траектория жизни. Был ли наш отъезд ошибкой? Трудно сказать, был бы я счастливее, сложись судьба по-иному. В жизни я совершил много ошибок, но, странное дело, последнее время прихожу к мысли, что я их внутренне, втайне от себя желал. Я хотел познать мир странным опасным способом. Мне казалось, если всё идёт гладко, я упускаю самое главное, будь то в любви или в решении математической задачи. Иногда какое-то внутреннее непонятное упрямство заставляло меня избегать правильных решений, раздражающих своей простотой и очевидностью. И в этом искусстве ошибок, возможно, есть моё сродство с той страной, куда я возвращаюсь.

Впрочем, за эти тридцать три года не всё было плохо, оказывается, мне даже есть чем похвастаться перед эстетом на яхте. И помотало меня от Джульфы до Заполярья, от Балтики до Тихого океана... И приключения были, и встречи... Так уж устроен человек. Всю жизнь мы клянём своё настоящее, а в результате нашим единственным богатством оказывается прошлое.

Мужичонка в очередной раз вскидывает голову, глядит туда, где на верхней полке под курткой съёжилась в калачик от холода девчонка лет пятнадцати.

— Эй, молодая, до Пскова? — спрашивает он.

— Ага... — тихо стонет девушка.

— Спи, — говорит мужичонка, — разбужу... Я разбужу!.. — голова его мотается, но речь трезвеет. — Х-холодно совсем?

Девчонка неопределённо хихикает.

— Я те куртку сейчас сниму.

— Да ладно, — отнекивается девчонка, — не надо...

— Ладно, ладно, землячка, — расстёгивает куртку мужичонка, — мне-то не холодно.

— Да не надо...

— А то гляди, — мужичонка перестает расстегиваться. — Спи... разбужу я, поняла? — обводит всех рассеянным взглядом.

Алкоголь разрушил этого человека безвозвратно: тусклые слезящиеся глазки, дряблая сморщенная кожа с младенческой розоватостью, мотающаяся беспомощно голова, трясущиеся руки...

— Домой еду. Во, землю получил... Вот... Из Ревеля! Счас от вокзала шесть километров... к утру дойду... Мне землю дали. Во, — мужик чуть привстал, — кулаком стану! Вот, на трактор сяду, — руки его будто водят воображаемые рычаги. — Хозяином буду. Хозяином, вот! — он поднимает сжатый кулак.

Тягостное молчание отвечает ему, ни у кого не хватает сил даже на улыбку, чтобы смягчить охватившую всех неловкость: пропьёшь ты и землю, и трактор, братец...

— Ша... со станции... К утру дойду...

За окном, в зазеркалье, черная ледяная тьма, в мелькнувшем световом пятне фонаря метельная рябь.

— Да ведь замёрзнешь в дороге. Дождись хоть утра на станции, — советую ему.

— Не, — упрямо мотает головой. — Не, я пойду... — Пскович неожиданно переводит взгляд на меня, распахивает пазуху куртки, откуда торчит горлышко бутылки. — Пошли, а?

Я делаю вид, что не слышу, думаю, что он и без того пьян. А коричневая жидкость стоит воротником в коротком горлышке большой граненой бутылки. Лукавая мысль посещает меня: а не сделаю ли я доброе дело, помогая одолеть эту бутылку, ведь чем меньше попутчик вольёт в себя, тем больше шансов, что он не упадёт и не замёрзнет зимней ночью по дороге в родную деревню? На самом деле я просто хочу выпить, холод сковал ноги, и уж лучше что-нибудь делать, чем сидеть просто так.

Удивительно, что заставляет этого человека делиться недешёвым зельем, из-за которого убиваются в очередях, — самым драгоценным пороком в своей жизни?

— Пошли, а? — настойчиво повторяет мужичонка.

Мы встаём и, спотыкаясь о чужие колени, движемся к тамбуру. По дороге мой Дионис заботливо одёргивает куртку на уже спящей девушке, прикрывая ей ноги:

— Спи...

Тамбур встречает взрывом. Грохот, скрип, лязг, ослепительный свет лампы и якутский холод! Ветер врывается из черноты сквозь лишенное стекла окно, металл вокруг которого покрыт сверкающей инейной солью, и сразу кажется, будто с тебя разом сорвали всю одежду и ты стоишь голый на ветру, продуваемый до каждой жилки. Масляно блестит жёлтая банка, заполненная окурками, будто славя саму себя и своё нищенство.

— На! — кричит мужичонка, перекрикивая ветер, вой и грохот, протягивает мне бутылку. — На!

Мысли мои цепенеют, и от холода кости, кажется, готовы выпрыгнуть из плоти. С трудом разжав зубы, делаю глоток — всё равно что глотнул водопроводной воды.

— Закуси! — неожиданно из обширной пазухи, прикрытой красным шарфом, появляется колбасный бутерброд.

Чувствую, что превращаюсь в автомат, беру бутерброд.

Между нами и чёрной тьмой нет границы, и мы стремительно в неё летим.

Язык

«**К**акое же это великое счастье — русский язык!» — воскликнул писатель Вардван Варжапетян, мой друг. Вардван, как и я, метис: папа — армянин, мама — русская. А у меня: папа — армянин, мама — украинка. В семьях наших говорили только по-русски, родились мы вне Армении, поэтому армянского языка, увы, не знаем. Вообще-то, я рассматриваю нас, метисов, не как расколотые пополам сущности, страдающие от потери однозначной самоидентификации, а как мосты между этносами.

Будучи людьми русской литературной культуры и языка, мы не забываем о нашей прародине — Армении. Вардван написал замечательную повесть об армянском поэте святом Григории Нарекаци, ездил в Армению добровольцем после ленинканского землетрясения, разбирал завалы, я как врач курировал в Боткинской больнице привезенных из Армении на лечение пострадавших с тяжёлыми травмами, увлекался историей Армении.

Но вернусь к русскому языку — точнее, к тому случаю, когда я почувствовал его особенную близость ко мне. Вот как это было.

Я родился в Эстонии, люблю её, уважаю эстонцев за их трудолюбие и протестантскую честность. Наша семья покинула эту страну, когда мне шёл восьмой год, но с тех пор едва ли не каждые два-три года я навещал Эстонию — как-то духовно освежался. С обретением независимости Эстонии и введением визового режима ездить в Таллин стало сложнее. Отношения между Россией и Эстонией последовательно ухудшались. Не буду сейчас оценивать, чьей вины здесь больше, — не хочу окуна́ться в политические дразги, но факт остаётся фактом: Эстония всё более отдаляется, отгораживается от России, считая её потенциально опасной. Количество поездов между Таллином и Москвой уменьшилось с двух до одного, количество вагонов в оставшемся поезде сократилось почти наполовину. Тем не менее я считал своим долгом показать Эстонию сыну. Когда ему исполнилось десять лет, мы посетили эту страну.

Зная об отрицательном отношении многих эстонцев ко всему русскому (ещё с советских времён), мы с сыном договорились в поезде общаться на английском. Нашим соседом по купе оказался невысокий плотный блондин лет тридцати. С проводницей, проверявшей билеты, он переговаривался на эстонском, мы же с сыном обменивались замечаниями только на английском. Однако в какой-то момент я утерял бдительность и у меня вырвалось русское восклицание: «Ух ты!» Этого оказалось достаточно, чтобы эстонец нас моментально расшифровал и обратился к нам на чистом русском языке.

Оказалось, что зовут его Айвар, он бизнесмен и впервые едет на поезде по маршруту, который раньше всегда преодолевал на самолёте. Мы разговорились. Поезд вырвался за пределы Москвы, и Айвар отправился в вагон-ресторан. Каково же было наше удивление, когда он вернулся с полным подносом горячих сырных тостов для нас! Ничего себе «холоднокровная» нация!

Всю ночь мы с Айваром проболтали о политике и экономике, о России и Западе и наутро расстались друзьями.

Тем не менее в Таллине, на ресепшене гостиницы, в фастфудах и пиццериях, в магазинах, в музеях, чтобы не привлекать излишнего внимания, мы общались на английском. Но тут, к нашему удивлению, нас понимали далеко не все, особенно старшее поколение эстонцев: английский они так и не выучили, а русский или не понимали, или отказывались понимать из принципа.

Впрочем, мы с сыном быстро овладели несколькими эстонскими словами, которыми довольно успешно обходились, тем более что пицца оставалась пиццей на всех языках, а суп звучал почти по-русски — «су-уп», а кофе так и оставался кофе. Считать нам вполне хватало до двух, так как нас двое: «юкс» — один, «какс» — два. И наш заказ выглядел примерно так: «Какс пицца, юкс кока-кола, юкс ылу (пиво)». Пицца могла быть большой — «су-ур» и маленькой — «эй су-ур» («эй» — нет).

С русским же языком в старом Таллине случилась не очень приятная встреча. Мы спокойно гуляли по городу, напитываясь духом Европы и готики, как с небес неожиданно об-

рушился ливень. Такие ливни здесь летом сильные, часты, но короткие.

Мы укрылись в небольшой средневековой подворотне, как вдруг я увидел глубоко взрезанное на штукатурке стены крупными буквами самое знаменитое на Руси слово из трёх букв! Я сразу попытался закрыть его собой от сына. И не потому, что мой сын был так уж в этом смысле «целомудрен»: он вполне знал значение того слова. Сын слышал его в нашем Подольске тысячи раз с раннего утра, когда мимо наших окон дома шагали на завод рабочие, кашляя, переговариваясь, и после каждого слова печатного следовало «подпоркой» непечатное, да и в течение дня нередко на улицах звучал матерок, а мы по умолчанию как бы его не слышали, не реагировали. Сын никогда не спрашивал значение этих мусорных слов — видимо, его с детского сада еще «просветили»... Но здесь, в Таллине, это слово выглядело чудовищным диссонансом романтическому облику города, а мне не хотелось портить ему впечатление, — Таллин был моим подарком сыну, и я не хотел, чтобы подарок был с червоточинкой.

В остальном всё наше пребывание в Таллине проходило прекрасно, хотя существовало постоянно лёгкое внутреннее напряжение. Улицы и площади заполнял певучий эстонский язык, русский же исчез совершенно — скорее можно было услышать японский.

Но вот наступил день отъезда. Мы посидели под грибком на Ратушной площади, потягивая пиво (я) и кока-колу (сын), любуясь сулящими короткие летние ливни гигантскими кучевыми облаками, в сравнении с которыми даже ратуша казалась игрушечной.

Наконец вошли в вагон и двинулись к своему купе.

Если, когда мы приближались к Таллину, весь вагон был погружен в настороженное молчание, прерываемое лишь иногда эстонскими фразами проводницы, и люди старались не смотреть друг на друга, будто чего-то смущаясь, то сейчас в вагоне царили радостное оживление, улыбки и смело звучала со всех сторон русская речь — вольная, без срамословия. Казалось, в жаркий день мы вошли в освежающее море!

Поезд тронулся и начал набирать ход, и, хотя в окно был ещё виден Длинный Герман с развевающимся над ним чёрно-сине-белым эстонским флагом, мы были уже в России.

Амаяк Павлович ТЕР-АБРАМЯНЦ

родился в Таллине в 1952 году.

*Окончил II Московский медицинский институт
и Литературный институт им. А.М. Горького.*

Прозаик.

*Автор семи книг: «Витраж» (1993), «Человек у моря» (2006),
«В ожидании Ковчега» (2012), «Шоколадный вождь» (2013) и др.
Публиковался в периодических изданиях: «Литературная Россия»,
«Таллинн», «Радуга» (Эстония), «Литературная Армения»,
«Русская речь», «Отечественные записки», «Знамя»,
«Новая Юность», «Смена», «Волга», «Дружба народов» и пр.*

Член Союза писателей Москвы.

В журнале «Север» публикуется впервые.

